

Никита Богословский:

«Порядка не было даже в ГПУ. И это меня спасло»

Беседовать с ним на редкость легко и приятно. Совсем не давит превосходство его возраста, авторитета — хотя и то, и другое более чем солидно. Он водит тебя по квартире, будто заправский экскурсовод. — и от самого доверительного, усмешливо-ироничного тона его речи вдруг начинаешь ощущать себя гостем этого небольшого родового поместья, радушной хозяйки которого рад приветить посетителя, кое-что рассказать ему из былого-прожитого... А рассказать, право, есть о чем. Стоит только посмотреть на стены дома — и словно сама эстетическая история XX века глянет на тебя с их картинами, портретами: вот Прокофьев, вот Хачатурян, а там — Дюк Эллингтон, Жан Марэ... Все — с дарственными надписями владельцу — выдающемуся музыканту, литератору, едва ли не самому знаменитому остроумцу своего времени. Потомственному дворянину, ставшему одним из основоположников советского музыкального искусства, — Никите Владимировичу БОГОСЛОВСКОМУ.

— Никита Владимирович, о таких родовых связях как ваши, раньше не принято было распространяться. Если почтительно книги и статьи о вас, то сведения о родственниках там даются самые приблизительные. — Что ж тут удивительного? Разве можно было, например, открыто написать, что мой дед по матери, Михаил Федорович Поземковский, имел чин камергера двора? Он, кстати, несмотря на столь солидное звание, был, говорят, очень веселый человек. Е-ту даже в смерти «повезло»: умер перед самой Февральской революцией, так и не увидев падения столь дорогой его сердцу императорской державы. Долгое время потом в нашем доме висел его портрет — карандашный эскиз Репина к знаменитой картине «Заседание Государственного совета». Потом, когда начались гонения 30-х годов, бабушка из предосторожности замаскировала парадный мундир черной тушью, и дед стал похож на какого-нибудь председателя рыболовецкого колхоза. Ну а в 1937-м картину и вовсе пришлось сжечь: так мир лишился одного репинского шедевра... Бабушка была дочерью осно-



На снимке: Н. Богословский и Л. Утесов.

Богословский, тоже происходил из достаточно именитого рода. Его отец, Лев Петрович, был очень известным в Москве адвокатом, дослужился до чина действительного статского советника. Правда, родители довольно рано развелись, и мама вышла замуж вторично, за Георгия Васильевича Крупенского. Он был военный моряк, один из последних воспитанников Царскосельского лицея. Кстат, и арестовали-то, его (уже при большевиках, естественно), когда он с парой своих товарищей отмечал очередную лицейскую годовщину. Потом арестовали еще оаз, потом все сослали...

У нас было два имени — Березаики в Новгородской губернии и Карповка в Тамбовской. В одной из них, кстат, до революции скрывался от преследований полиции Вячеслав Рудольфович Менжинский. Упомяну этот факт, потому что впоследствии он сыграл

(Окончание на 7-й стр.)

[Окончание. Начало на 1-й стр.]

для нас важную роль смягчающего обстоятельства: когда массовым порядком депортировали бывших дворян из Ленинграда, моих близких тогда выслали не в какую-нибудь страшную среднеазиатскую или сибирскую глушь, а в Казань. — А как вам самому удалось избежать ссылки?

— Не очень понятно. Все эти годы я честно и исправно писал в графе о классовом происхождении: «Б. двор.», что, правда, можно было трактовать и как «бывший дворник». Но, думаю, причина в другом: просто у них там, в органах, тоже не было настоящего порядка. Однажды — кажется, в 1937 году — меня все же вызвали в Большой дом. Говорил со мной некий полковник Малий — до сих пор помню его красивое, смуглое, очень усталое (видимо, от бесконечных ночных допросов) лицо. Он объявил мне предписание — срочно ехать в Сыктывкар. И вот тут, наверное, сказался мой не очень серьезный характер. Я подумал: переполох нынче большой, тысячи семей в спешном порядке куда-то переселяются. Что если я не поеду — захотят или нет? И не поехал.

— И что же? — Как видите, перед вами сижу. Никто и не вспомнил тогда обо мне. — Довольно смелый, если не сказать больше поступок... — А я сизмальства был иррационально своенравным. В шестнадцать лет, например, когда кончил школу, ушел из семьи. Нет, не очень далеко: на... чердак собственного дома. Юношеская романтика, знаете, и все такое. Отто Юльевич Шмидт подарил мне тогда спальняй мешок — и вот днем я давал уроки французского немцамским детям, вечером заходил в квартиру к своим, а ночевать поднимался наверх...

Вскоре я написал оперетту — «Ночь под Рождество» на либретто Николая Эрдмана и Владимира Массе, ее поставили в Театре музыкальной комедии. И спаз пошли огромные, по тогдашним меркам, гонорары. Жить на чердаке дальше стало уже неудобно — как-никак солидный автор (хотя, между прочим, на премьеру оперетты билетоза не хотела меня пускать: «Мальчик, таким, как ты, надо в воскресенье с мамой приходить на утренник»). Спустился «вниз», начал материально помогать семье. Это сейчас композиторы в 40 лет сплошь и рядом ходят в чачинающих. Тогда это было невозможно. Например, мой незабвенный учитель Александр Константинович Глазунов (у которого я занимался два года перед консерваторией — потом он, к сожалению, уехал за границу) на премьеру своей Первой симфонии вышел в гимназическом мундире... Леонид Утесов, когда я с ним познакомился, был уже сформировавшимся артистом, а ему к той поре исполнилось лишь 28...

— Как произошла ваша встреча? — Все началось с одного спектакля в Театре юного зрителя. Там я познакомился с девочкой по имени Дита и получил от нее приглашение на день рождения. Написал вальс — совершенно безграмотный, надо сказать, и понес его в подарок. В Доме у нее собралось очень много детей (из них я знал только Алика Менакера), и именинница торжественно объявила, что мы будем ужинать со взрослыми, а взрослые — это папины друзья дядя Миша Зо-

ценко, дядя Володя Маяковский, дядя Исаак Бабель. Это молодые, очень хорошие пианисты дядя Володя Софроницкий и дядя Володя Горовиц...

Ужин получился на славу, я этих всех людей увидел. Помню, дядя Володя Софроницкий потряс меня одной странной способностью: любую сказанную при нем фразу он мог тут же, ни секунды не раздумывая, произнести по буквам задом наперед.

Но вот появился хозяин дома, Дитин папа. И хозяин-то оказался не кто иной, как Леонид Утесов! Он задержался на концерте, естественно, был разгорячен выступлением — и тут, поверьте, на нас обрушился настоящий шквал. Казалось, в комнату ворвалась целая сотня Утесовых. Один играл на саксофоне (диковинном в то время инструменте), другой на скрипке, третий рассказывал какие-то анекдоты, четвертый показывал фокусы, стоял на голове... С тех пор и началось мое членство в Утесовых.

— Столько ярких имен в одном доме? — Да, это — наша пес-

ня. — Жанр песни в те годы более чем какой-либо другой оказался ангажирован стилистической пропагандистской машиной. Осознавая это, вы тем не менее сохранили верность избранному направлению деятельности. — А почему я должен был его менять? В политическую тематику я никогда не лез (да и вообще всю жизнь сторонился политики, не рвался ни к каким официальным должностям. Творчество — вот на что была направлена вся моя энергия). У меня же нет ни одной ура-героической или славильной песни — из тех, которыми обычно открывались программы праздничных концертов. Причем честно скажу: не столько потому, что так выражался какой-то там мой тайный протест, а просто мне этот пафос не свойствен. Вот лирика — это мое: «Темная ночь».

— Три года ты мне снилась... — Когда в 1948 году вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об опере «Волны дружбы», а затем состоялся I съезд Союза советских композиторов, осознали ли вы, что фактически происходит избивание лучших творческих сил отечественной музыки? — Конечно. Я тогда направил Шостаковичу письмо со словами моральной поддержки. Думаю, он почувствовал, что это нечто большее, чем просто дежурный жест. Неожиданно письмо всплыло через много лет, уже после смерти его адресата. Максим Шостакович вдруг позвонил мне по телефону, прочитал его вслух и поблагодарил за доброе отношение к отцу. Как оказалось, это была форма прощания со мной. Вскоре он уехал на гастроли за границу, откуда уже не пожелал вернуться на родину.

— Несколько раз в течение нашей беседы вы произнесли слова «профессионализм». «Профессионализм». Но сегодня на ивее песенного творчества подмывает что угодно и тестрадные певцы, и звукоинженеры, и редакторы радио... — Ну так и результат, между нами говоря, соответствующий. Вспомните: лучшие песни моего времени подхватывались народом без всякого принуждения, их пели повсюду. И были они популярны — в течение лет и даже десятилетий. Популярности же нынешних шлягеров хватает в лучшем случае месяца на два...

— Что ж, таковы законы сегодняшнего музыкального рынка. Чем короче вен песни, тем большее количество подобных ей одиозных можно сбыть покупателю, то есть, простите, слушателю.

— Но почему они так примитивны? Три аккорда на гитаре — и все. — Массовая продукция... — Нет, в самом деле, я ведь вовсе не противник рока как такового. Знаю нескольких (немногочисленных, к сожалению) талантливых музыкантов, работающих в этом жанре. Но почему-то теле- и радиоэфир забит ансамблями совершенно иного, далеко не лучшего свойства. Может быть, у них есть какие-то другие достоинства?

Я, например, слышал, что сегодня, чтобы попасть в передачу, артист должен иметь весьма толстый кошелек: не ему платят гонорар (как было в мое время), а он платит, и весьма крупные суммы. Я понимаю, взятничество всегда существовало, но не до такой же степени... И потом, вы только послушайте, что поют современные рок-ансамбли... Все такое злое, колючее, а то и просто находившееся за гранью морали. — Это точно. Вот первая встреча с вами я на минуту выключил радио — и был сражен раздавшимся из репродуктора припевом: «Из-под луба, из-под луба шла такая благодать! Ты мне там дала, зараза...», дальше совсем неразборчиво, с плохой прослушиваемой рифмой и слову «благодать»...

— Вот видите, одно утешение: дикий у певцов столь плохой, что все равно те глупости и пошлости, которые они извергают на слушателя, до него не доходят. Нет, если серьезно, чем дальше, тем все больше складывается у меня впечатление, что песни — такая, какой мы ее знали и сочиняли, — умерла.

— А вот Александра Пахмутова, с которой мы недавно беседовали, считает, что другой советский песня жива, несмотря на усилия тех, кто в годы перестройки и позже пытался поставить на ней крест.

— Что сказать... Во-первых, мне никогда не нравилось само определение: советская песня. Почему это вдруг к названию жанра решили присоединить в виде определения указание на тип государственного устройства? — Ну это вроде национальной принадлежности нашей общины...

— Не скажете. Исполнялись армянские песни — они и назывались армянскими. Литовские — литовскими. Только по отношению к произведениям современных русских композиторов совершалась такая странная

подмена.

Но название — в конце концов дело десятое, не в нем суть. Вот вы говорите — Пахмутова... Понимаете, лично к ней у меня отношение сугубо уважительное: талант — безусловный, профессионализм — самого высокого качества. Ей ведь никаких помощников не надо — ни гармонизаторов, ни оркестровщиков, партитуру любой сложности она напишет сама, да еще и партию ролля виртуозно сыграет. Главное — в любые, в том числе в тоталитарные, как сейчас принято говорить, времена она умела находить живое человеческое звучание для тех сюжетов, на которые писала. И сейчас она, несмотря ни на что, сохраняет верность себе, не поддается конъюнктуре...

— Лично был свидетелем, какой успех имели у слушателей ее «Русский вальс» и другие произведения последних лет... — Но ведь одна Пахмутова песню не вытеснит. Кто нынче остался в живых из «старожилых» жанра? Пожалуй, только

ши шутки вошли в легенду, о них рассказывают десятилетиями...

— И приписывают мне очень многое из того, к чему я на самом деле не имею ни малейшего отношения.

— Например, я помню, в свое время ходила легенда о том, как вы ного-то разыграли (доказано, место, надо сказать), прилепив сургуч с отписанного пятака и давным напир-тиры — т. е. имитировав опечатание.

— Эта история, имеющая наибольшее хождение, как раз относится к числу легенд. Ничего подобного со мной никогда не было. Но как же вездесуща народная молва! Помню, в Бюкестеле об этом несуществующем эпизоде моей жизни меня спрашивал на приеме в английском посольстве болгарский военный атташе.

— Нет, мне чудного не надо, своего хватает. Ведь для меня это тоже в некотором роде творческое приложение сил — ради отдыха, разрядки. Как-то, например, мы с моим другом и коллегой Сигизмундом Кацем поехали на гастроли в Лондон. Там у каждого из нас было по авторскому отделению в одной концертной программе, и столько раз мы друг друга слышали, что напел он мне, а я ему страшно. И вот как-то я приехал в один клуб и вместо слов: «Здравствуйте, я Никита Богословский» — сказал: «Здравствуйте, я композитор Сигизмунд Кац». И сыграл все его вещи. Потом расклялся и ушел. А через несколько минут приехал Сигизмунд (первое отделение он давал где-то в другом клубе, неподалеку), тоже вышел на сцену: «Здравствуйте, я композитор Кац» — и опять сыграл то же самое. В зале, естественно, свист...

— Рассказывают, после этого вашего розыгрыша Сигизмунда Каца вас на три месяца исключили из Союза композиторов.

— Времена были суровые, шутки не все понимали так, как хотелось бы...

— Но слышал, он отомстил вам и каким-то зловерным образом переделал слова вашей песни «Любимый город может спать спокойно»...

— Опять легенда, хотя в основе ее подлинный факт — Смирнов-Сохольский превратил мою песню в гимн ассенизаторов, изменив в слове «спать» всего лишь одну букву...

— М-да... Вы, поди, оскорбились?

— Я? Помилуй Бог! Плох тот шутник, который не умеет ценить чужие шутки. И потом, тема-то затронута хорошая, жизненная — ассенизация. Даже иные поэты себя к этой специальности причисляли — в духовном, конечно, плане: так сказать, очищение жизни от всяческой грязи. Ну а композиторы почему должны от них отставать? Даже если взять вопрос в сугубо материальном ключе — представить, что наши городские коммунальные службы вдовог заработали на том уровне добросовестности, к которому их призывает эта песня. Я думаю, это был бы пусть маленький, но верный шаг к счастью человеческого.

Конечно, не надо это воспринимать прямолинейно. Я к тому, что нельзя ставить перед собой великие цели, постоянно живя при этом в хлеву. Мы и навлекли-то на себя столько бед, потому что слишком много говорим о гонимых плачах, но слишком мало думаем о простых нуждах обыкновенного человека. А между тем верно кем-то замечено: не хлебом единым...

Вел беседу Сергей БИРЮКОВ.